

Одолевший Забыть-реку

Василий Белов

В наших местах в 30-е годы детей частенько вообще не регистрировали, юридически я как бы и не существовал. Месяц и день рождения я придумал себе сам, 23 октября, поскольку мама и бабушка Ермошиха сказали, что я родился то ли за неделю до Покрова, то ли неделей позже...

В. И. Белов

Именно Василию Белову посвящено ставшее теперь уже классическим стихотворение Николая Рубцова:

*Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои...*

Стихи эти — как вздох. Они тише самой тишины. Авторское посвящение здесь — не просто знак дружества, а ещё и особенная доверчивость, несомненность в том, что адресат примет к сердцу этот порыв поделиться самым дорогим — памятью о маме, о родине, о детстве.

Детские судьбы Рубцова и Белова горестно перекликаются — как у многих их сверстников. У Рубцова:

*Мать умерла.
Отец ушёл на фронт...*

У Белова отец, Иван Фёдорович, погиб в 1943 году, мать, Анфиса Ивановна, одна поднимала четверых. Май 1945 года — это где-то в городах салют и песни, а в Тимонихе, не дождавшейся с войны отцов, братьев и мужей, женщины впрягались в оглобли, а дети ели глину. Корову Берёзку ещё в начале войны пришлось отдать государству в счёт налогов.

«Помню, — рассказывал Василий Иванович, — как женщины, дети и старики, голодные и полураздетые, то тут, то там пилили свои же сени, чтобы истопить печь... Соли не было, вываривали рассол из старых деревянных кадок. Лошади сдохли, некоторые съедены..., двенадцать баб на верёвках без оглобель волокут плуг, тринадцатая идёт за плугом... А дома ворота не



*Василий Иванович Белов.
1987 год*

закрываются, ползут и ползут нищие. Целыми семьями, в одиночку, от дома к дому, дальние и свои, русские и цыгане, калеки и просто полуживые от голода, дети и старики... И так ежедневно, много лет подряд, ведь ещё и в 45-ом и 46-ом голод в наших местах был не меньше, чем в военное время...»

После семилетки пятнадцатилетнего мальчишку поставили счетоводом — других грамотеев на эту должность в колхозе не нашлось. Как-то Вася увидел в газете объявление о приёме в ФЗО и загорелся учиться. А такие вещи тогда решались на колхозном собрании — отпустить или не отпустить в город. Мало кого из парней отпускали, мужских рук не хватало. Но Васю Белова отчего-то легко отпустили. Быть может, материнская интуиция подсказала собравшимся вдовам, что именно этот неказистый, набычившийся от смущения паренёк станет когда-нибудь ходоком за Тимониху.

И он поехал, как ему казалось, налегке, а на самом-то деле — нагружённый всеми надеждами и всей болью Тимонихи. «Я начал заниматься литературой от горечи и боли, испытанных ещё в детстве», — скажет он много лет спустя.

Учился в Соколе, вокруг — бараки. Отучившись, был и плотником, и столяром (полвека спустя сам настилал пол, когда восстанавливал церковь на родине), служил в армии, работал в райкоме комсомола, печатал стихи в местной газете, учился в Литинституте. Бурные, суетные, молодые годы. Но именно в то время душа собиралась, тихо готовилась выразить... нет, не себя выразить, а выговорить боль тех, кто остался там, в Тимонихе. Принести им своё сыновнее, поклонное слово. Рассказать людям, осевшим по городам, о навек осиротевших избах, об оставленных погостах, о спрятанном горе матери-деревни. О нашем сообща совершённом предательстве. «В моё сердце стучит пепел...» — напишет он потом в «Раздумьях на родине».

Ему было всего тридцать с небольшим, когда в 1966 году выходит «Привычное дело», через два года — «Плотнические рассказы». Вещи, ошеломившие пронзительной правдой о военной и послевоенной деревне. Какие там диссиденты! Иван Африканович был живым укором политике партии, ходячим обвинительным приговором. Как забыть его — обобранного налогами, бесправного, рано надорвавшегося. «Привычное дело» и сегодня звучит как «Реквием» Генделя.

«Белая колокольня развороченной церкви явственно выделялась на спокойном, по-осеннему кротком небе. Зябкая речка, огибавшая холм с кладбищем, не двигалась, и синенькое небо, отражённое ею, казалось чище настоящего, верхнего неба... Иван Африканович сидел на могиле жены и смотрел на речку, на жёлтые ясные берёзы вдали. Думал... "Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя... Ты, Катя, где есть-то?..."»

Судьба русской деревни, подкошенной годами коллективизации, отдавшей последнее, что имела, фронту, — сегодня о ней не вспоминают, отделяясь по майским праздникам общей фразой «подвиг тыла». А может, потому и не вспоминают, чтобы не оглядываться и вовсе в ту,



Юрий Гагарин и Василий Белов. 1967 год

деревенскую, сторону. Ведь как туда посмотреть без стыда, без ужаса перед тем, что творится сегодня, сейчас. Как без содрогания взглянуть в чёрные глазницы брошенных ферм, закрытых школ, разбитых клубов, растащенных детских садилов!

Вот почему остаётся по большому счёту не прочитанной беловская трилогия о судьбах русского крестьянства: «Кануны», «Год великого перелома» и «Час шестой». Сегодня далеко, с глаз долой, задвинули деревенскую литературу. Литературу, выстраданную не одними писателями, а всем народом. И оттого — кровно нашу, совестливую, заступническую, удержавшую в слове многое из того, что на русской земле мы сегодня уже не найдём.

«Никого у него не осталось, только гармонь играла, как живая...» Это из беловского рассказа «Весна» — про старика, у которого было трое сыновей и ни один не вернулся с фронта. «Теперь жизнь пошла хорошая, только жить некому...»

*Ты не ездй за Забыть-реку,
Ты не пей-ко забытной воды,
Ты забудешь, млада-милая,
Да свою родную сторону...*

Напились мы, кажется, забытной воды. Когда бываю на нынешних книжных ярмарках, протискиваюсь к манящей книжной пестроте, выглядываю что-то, иной раз в руки что-то беру, пробегаю глазами и вдруг ловлю себя на том, что не понимаю прочитанного. То есть я вижу, что написано, напечатано на русском, но не чувствую, что это по-русски. Будто

кто подшутил над тобой, завязал глаза, покружил, а потом снял повязку и сказал: вот тебе книжка, попробуй прочитать. И вот кружатся перед тобой знакомые буквы русского алфавита, но не складываются во что-то близкое и ясное. Тебя убеждают, что вот она, твоя русская литература в своих лучших современных образцах, вот они, «лидеры продаж», читай на здоровье. А пробуешь читать — сердце не верит.

Это как если бы кто-то переоделся в твоего отца или маму и пришёл бы к тебе в дом. Что может быть страшнее того, когда чужой человек выдаёт себя за самого близкого! Кажется, это с нами и происходит: мы распахнули дверь и приняли в дом чужое под видом своего. «Тексты» под видом книг. Изошрённые «штучки» под видом классики.

Сложный диалог писателя и читателя, книги и общества, художника и власти заменён «раскруткой» и гонкой рейтингов. Культура, опирающаяся на выработанный веками нравственный канон, заменена культом самовыражения, не стеснённого никакими традициями и нормами. Эта новая, «текстовая», литература освобождает своего читателя от духовного труда, от сердечного переживания, она лишь «цепляет» его расчётливыми приёмами (сейчас везде трубят о том, что «культурное событие должно провоцировать»).

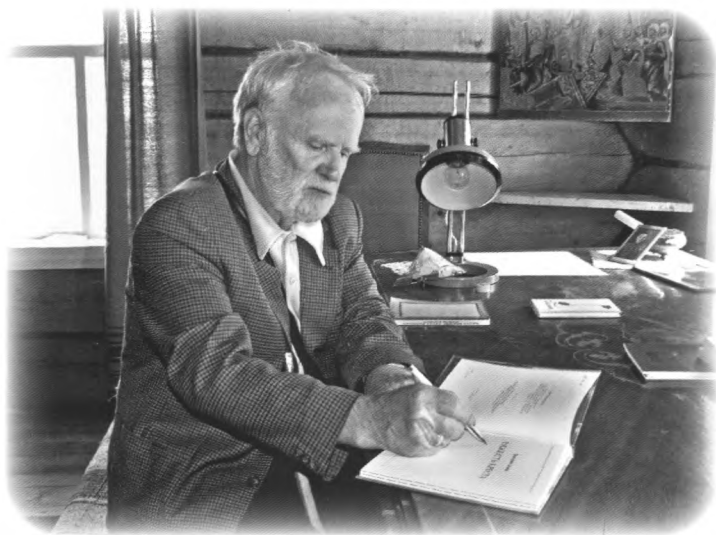
Но реклама рекламой, а «текст» к душе не приткнёшь, не приникнешь к такой книжке доверчиво и радостно, узнавая в ней своё, родное, не станет она выдохом боли, облегчающим душу, не заплачешь над ней, не улыбнёшься счастливо, не прижмёшь к сердцу как дорогую весточку из родимого края.

Происшедшая подмена сути русской словесности, её понятий, её нравственного и музыкального строя очевидна, но вслух сказать о подмене как-то неловко. Будто ты признаёшься в своей «непродвинутости», глупости. И всё-таки, по мне, лучше признаться в глупости, чем согласиться с подменой, с тем, что навсегда прошла спасительная и утешительная, прямодушная и светлая русская словесность.

Нет, жив наш родник, и, как ни пытаются взять его в железную трубу и пустить силком под асфальт, то тут, то там пробивается он, пульсирует. Родник ещё бьётся, но уходит и читатель, тает стремительно. Как горестно сказал один ярославский батюшка, уставший от бесконечных отпеваний: «Народ голосует ногами: уходит ногами вперёд...»

Уходит читатель русской литературы, истончается до слюдяной тонкости слой людей, способных «адекватно», как модно сейчас говорить, понимать Пушкина и Баратынского, Лермонтова и Гоголя, Тургенева и Фета, Толстого и Чехова, Шергина и Писахова, Астафьева и Распутина, Лихоносова и Белова... И эта беда застилает все наши, собственно литературные, огорчения.

Как говорил академик Александр Михайлович Панченко: «Мы цивилизация, во-первых, словесная, а во-вторых, сельская. Горе наше, что мы попытались стать городской цивилизацией. Это самое страшное, что случилось в XX веке, — то, что мы сотворили со своей сельской цивилизацией». Продолжая мысль учёного, нельзя не связать два эти



В. И. Белов за рабочим столом в Тимонихе

трагических явления — уход крестьянства и уход Читателя. Видно, как ни пыжится город, а культуры Слова нет в России вне деревни, без неё.

Не так много вокруг нас осталось родного, чтобы мы могли им пренебречь. Чтобы мы оставили без этого, родного, своих детей.

Перечитайте Белова, окунитесь в его рассказы, поклонитесь — хоть бы и мысленно — русской деревне. Скажите тихое «спасибо» старому писателю. Он услышит.

*Впервые опубликовано в газете «Труд» 23 октября 2007 года
под названием «Поклон русской деревне».*

Послесловие

Когда эта книга готовилась в печать, пришла горестная весть об уходе Василия Ивановича. И сразу вспомнилось, что ведь всё детство прошло рядом с ним, в одном городе. Да что там детство — вся жизнь. На первом курсе университета я корпел над курсовой по рассказу Белова «Колоколёна». Кажется, сам выбрал Белова и этот рассказ, никто не навязывал, но, видно, не рассчитал своих сил — слишком глубока была для меня речь старухи Колоколёны. И я беспомощно барахтался в беловском повествовании, напрасно перерывая словари в поисках неслыханных мной доселе деревенских слов. Слова не всегда прояснялись, а Колоколёна была живая, близкая. Я видел и слышал её, и даже побаивался...

Сейчас они вместе там, в мире ином, в большой небесной Тимонихе.